

# Юлия

Женщины жалуются на мужчин, мужчины -- на женщин. Кто прав? Кто виноват? Кому решить тяжбу? Если мне, то я, ничего не слушая и не разбирая, оправдаю... любезнейших, следственно,-- женщин?.. Без сомнения. Но мужчины будут недовольны моим решением, докажут мое пристрастие, объявят, что я подкуплен... милым взором какой-нибудь Лидии, приятною улыбкою какой-нибудь Арефы, перенесут дело в вышний суд, и приговор мой останется -- увы! -- без всякого действия.

Вот маленькое предисловие к следующей повести. Юлия была украшением нашей столицы; являлась -- и мужчины только на нее смотрели, только ею занимались, только ее слушали. А женщины?.. Женщины тихонько говорили между собою и с лукавою усмешкою взглядывали на Юлию, стараясь заметить в ней какой-нибудь недостаток, который хотя несколько мог бы успокоить их самолюбие. Тщетное старание! Юлия сияла, как солнце, зависть искала в ней черных пятен, не находила и с болюю в глазах, с отчаянием в сердце должна была... идти прочь! Нужно ли сказывать, что все молодые люди обожали Юлию и почитали за славу обожать ее? Один вздыхал, другой плакал, третий играл ролю томного меланхолика, и обо всяком, кто задумывался, говорили: "Он влюблен в Юлию!"

Что же Юлия? Любила более всего самое себя, с гордою улыбкою смотрела направо, налево и думала: "Кто мне подобен, кто меня достоин?" Думала, прошу заметить, а не показывала. Удивляясь красоте и разуму ее, всякий удивлялся между прочим и скромности ее взоров, искусство одним милым женщинам свойственное!

Но, мало-помалу приближаясь к концу второго десятилетия жизни своей, Юлия стала чувствовать, что фимиами суетности есть дым, хотя весьма приятный, но все дым, который худо питает душу. Как ни обожай себя, как ни любуйся своими достоинствами -- не довольно! Надобно любить что-нибудь, кроме магической буквы Я,-- и Юлия начала с большим вниманием рассматривать многочисленную толпу своих искателей. Иногда взор ее отдавал преимущество молодому Легкоуму, который в рассуждении красоты мог бы поспорить с самим Купидоном и не занимался ничем, кроме Юлии и зеркала; иногда -- статному Храбру, лаврами увенчанному воину, которому недоставало только греческого платья, чтобы быть совершенным Марсом; иногда -- забавному Пустослову, который, несмотря на важность судейского звания своего, вертелся на одной ноге, как Вестрис, сочинял всякий день по десяти французских каламбуров и знал наизусть лексикон анекдотов. Все -- ненадолго; через минуту Легкоум казался ей безрассудным, самолюбивым мальчишкою, Храброй -- видным драгуном и более ничего, Пустослов -- скучною обезьяною. Наконец, глаза ее остановились на любезном Арисе, который в самом деле был любезен; весы склонились на его сторону, и сердце с разумом на сей раз согласились.

Кто был Арис? -- Молодой человек, воспитанный в чужих краях под смотрением не наемного гофмейстера\*, но благоразумного и нежного отца своего. Полезные и приятные знания украшали его душу, добродетельные правила -- сердце. Не будучи красавцем, он нравился своею миловидностью и кроткими любезными взорами, одушевленными огнем внутреннего чувства. Он краснелся, как невинная девушка, от всякого нескромного слова, сказанного в его присутствии; говорил немного, но всегда основательно и приятно; не старался блистать ни умом, ни знаниями и слушал каждого, по крайней мере, с терпением. Чувствуют ли в свете цену таких людей? Редко. Там сусальное золото\* предпочитается иногда истинному, скромность, подруга достоинств, остается в тени своей, а дерзость заслуживает венок и рукоплескание.

Арис любил Юлию -- как не любить того, что прекрасно и любезно? Но бесчисленное множество ее обожателей утешало его. Он смотрел на нее издали, не вздыхал, не клал руки на сердце с томным видом -- одним словом, не думал представлять картинного любовника, но Юлия знала, что он любил ее страстно. Дивитесь, если угодно, проницанию красавиц! Скорее не приметят они солнца на ясном небе в полдень, нежели действия своих прелестей в глазах нежного мужчины, как бы ни хотел он, скрывать чувства свои.

Юлия отличала Ариса от других искателей, ободрила его застенчивость приятным взглядом, приятною улыбкою, начала с ним говорить, ласкать его, показывать уважение к его достоинствам, внимание к его словам, желание видеть его чаще. "Завтра вы будете в концерте, в саду; завтра вы будете к нам обедать, ужинать; вчера было у нас скучно: вы не хотели к нам приехать!" Арис не был из числа тех людей, которые малейшую ласку со стороны женщин принимают за доказательство любви и почитают себя счастливыми Адонисами тогда, когда об них и не думают; однако ж, несмотря на скромность свою, он позволил себе надеяться, а надежда для страсти есть то же, что тихий апрельский дождь для молодой зелени, что ветер для искры. Он готов был броситься на колени и сказать Юлии: "Будь моя навеки!", чего Юлия ожидала, чего она хотела, и, конечно, не для того, чтобы отвечать: нет! -- как вдруг на горизонте большого света явился новый феномен, который обратил на себя общее внимание -- молодой князь N\*, любимец природы и счастья, которые осыпали его всеми блестящими дарами своими, знатный, богатый, прекрасный собою.

Во всех обществах говорили о молодом князе; все хвалили его, а более всех -- женщины, особливо те, на которых он взглядывал ласковее, нежели на других, которым он сказал пять или шесть приятных слов. Не могли надивиться уму его даже и тогда, когда он говорил о погоде. Немудрено, разгоряченное воображение есть микроскоп, который все увеличивает в тысячу, в миллион раз, и люди с таким же упрямством могут искать остроумия там, где нет его, с каким иногда не хотят чувствовать, где оно есть.

Между тем носился по городу слух, что князь нечувствителен к женским прелестям, что Амуровы стрелы не берут его сердце, что оно.

посредством тайной эластической силы сжимается и остается невредимо, что бедный Венерин сын, желая ранить его, опустошил колчан свой и все понапрасну. Какой вызов для самолюбия женщин! Какая слава для победительницы! И всякой из них казалось, что Купидон, огорченный, расплаканный, подходит к ней, берет ее за руку и с умиленным взором говорит: "Отмсти, отмсти за меня или я умру с горя!" Умереть Купидону! Боже мой! Какой ужас! Зачем будет жить в свете без прелестного малютки? Надобно за него вступиться, надобно помочь ему, надобно отмстить и, чего бы то ни стоило, тронуть, победить, пленить нового Алькида; и все мастера в нашей столице занялись одною работою: кованием цепей по заказу красавиц {Вот отчего вошли в моду золотые цепи, которые за несколько месяцев перед сим гремели и сияли на всех наших молодых женщинах!}. Страшись, ветренный князь! Но князь улыбался, расхаживал, как гордый лебедь, и в одном публичном собрании встретился с Юлиею. За ним все красавицы, за нею все молодые люди, какая встреча! Они посмотрели друг на друга: какой взор! Юлия затмевала женщин, князь N\* -- мужчин. "Он должен любить Ер!" -- думали первые. "Она должна любить его!" -- думали последние. Те и другие потупили глаза в землю, простились с надеждою и разошлись в разные стороны. Один Арис остался подле Юлии. Он начал говорить, ему отвечали сухо, коротко; казалось, что она была в рассеянии.

На другой день Арис приехал к Юлии, но головная боль не позволила ей выйти из своей комнаты. На третий он увидел ее на бале: князь сидел подле нее, князь танцевал с нею, князь занимал ее приятным своим разговором. Арису поклонились учтиво, -- учтиво, более ничего. Спросили, здоров ли он, и не дождалась ответа. Арис подошел с другой стороны -- его не заметили -- и как заметить? Он подошел не оттуда, где сидел князь. Бедный Арис! Догадайся. Ты мог быть счастлив, но минута прошла! Что делать? -- Удалиться. Он то и сделал; не нужно сказывать, с каким чувством... Оставим его. Пусть он поплачет в уединении и, если можно, забудет милую ветреницу.

Между тем Юлия восхищалась князем. Молча, казался он ей Антиноем {Славный красавец, которому император Адриан посвятил храм.}; когда говорил -- Цицероном; когда говорил: "Юлия, я обожаю тебя!" -- полубогом. Он не обманывал и в самом деле пленился ее красотой так, что не хотел быть ни в одном концерте, где не пела Юлия, ни на одном бале, где не танцевала Юлия, ни на одном гульбище, где не гуляла Юлия. Он любил прежде играть в карты -- для Юлии оставил их. Любил часа по три в день проводить с английскими лошадьми своими -- для Юлии забыл их. Любил спать до двух часов за полдень -- для Юлии переменил образ жизни и редко не просыпался в полдень, чтобы на крыльях Зефира или по крайней мере в великолепной английской карете лететь к Юлии. Такая любовь не шутка. Вы скажете, что в рыцарские времена любили иначе. Государи мои! Всякий век имеет свои обычаи: мы живем в осьмом на десять! Красавицы наши снисходительны и жалостливы, ни которая из них, сидя в ложе, не бросит перчатки на гриву разъяренного льва и не пошлет за нею своего рыцаря {Это случилось во Франции, при короле Франциске I, в то время, когда звериные

сражения были любимой забавой двора. Одна молодая дама, сидя в амфитреатре, нарочно уронила перчатку свою на то место, где сражались львы, и сказала рыцарю Делоржу: "Подними ее или ты меня не любишь!"} для того, что рыцарь не пойдет за нею!

Юлия думала, что князь не мог жить без нее; только ей казалось чудно, что он, говоря беспрестанно о сердце, никогда не упоминал о руке. Многие из приятельниц тихонько поздравляли ее с таким завидным женихом, но жених молчал. Наконец, она дала ему почувствовать свое удивление. Нежный князь оскорбился.

-- Юлия сомневается в силе прелестей своих! -- сказал он с жаром.-- Юлия хочет променять огненного Амура на холодного Гименея! Милую улыбку первого -- на вечную угрюмость последнего! Гирлянду розовую -- на цепь железную! О Юлия! Любовь не терпит принуждения, одно слово -- и все блаженство исчезнет! Мог ли бы Петрарка в узах брака любить свою Лауру так пламенно? Ах нет! Воображение его не произвело бы ни одного из тех нежных сонетов, которыми я восхищаюсь. Так любить должно, и такой любви достойна Юлия!

Между тем Юлия побледнела. Князь увидел, что его философия ей не нравится; надобно было переменить язык, чтобы успокоить красавицу.

-- По крайней мере,-- сказал он,-- продлим, сколько можно, время любви нашей, оно уже никогда, никогда не возвратится, прелестная Юлия! -- тут он вздохнул.

Юлия не могла с ним согласиться, она требовала верного слова. Князь дал его и в награждение за то хотел, чтобы она позволила ему некоторые вольности в обхождении. Всякий день присваивал он себе новое право... Два жаркие сердца бились так сильно, так близко друг ко другу... Но скромность есть нужная добродетель и для самого сказочника. К тому же, не знаю отчего, собственное сердце мое бьется так сильно, когда я воображаю себе подобные сцены... Может быть, какие-нибудь темные воспоминания... Оставим.

Оставим все подробности и скажем просто, что бывали минуты, в которые одна богиня невинности могла спасти Юлиину невинность. Она почувствовала опасность, и князь принужден был назначить день для торжественной помолвки. В ожидании сего дня он истощил все возможные хитрости, чтобы победить ее твердость, но тщетно! В самое то время, когда ей по всем человеческим вероятностям надлежало забыться, она строгим взором отсылала его от себя, по крайней мере шага на два, так, что он лишился своей надежды быть счастливо-дерзким без имени супруга.

Однажды поутру, когда Юлия открыла глаза и с первой мыслию представила себе любезного своего князя, вручили ей письмецо следующего содержания:

"Вы любезны, но что любезнее вольности? Мне горестно расстаться с Вами, но мысль о вечной обязанности еще горестнее. Сердце не знает законов и перестает любить, когда захочет. Что ж будет супружество? -- Несносное бремя. Вы не хотели любить по-моему, любить только для удовольствия любви, любить, пока любишь, итак, простите! Называйте меня

вероломным, если угодно, но давно говорят в свете, что клятва любовников пишется на песке и что самый легкий ветерок завевает ее. Впрочем, с такими милыми свойствами, с такими прелестями вам нетрудно найти достойного супруга... может быть, верного, постоянного! Родятся Фениксы, но я в смысле не Феникс\* и потому оставляю Вас в покое. Меня уже нет в Москве. Простите! Князь N\*".

Юлия затрепетала и, следуя обыкновению новых Дидон\*, упала в обморок. Через несколько минут опомнилась для того, чтобы опять забыться. Наконец, собрав силы свои, она нашла для себя некоторое облегчение в том, чтобы проклинать мужчин. "Они все изверги, злодеи, вероломные; тигрица воспитала их молоком своим; под языком носят они змеиный яд, а в сердце их шипит ехидна\*. Слезы их -- слезы крокодиловы; поверь им -- и гибель неизбежна!" Такими нежными красками писала портрет наша отчаянная Юлия. Извинительно, но справедливо ли? В одну ли форму отлиты сердца мужчин? Могут ли все отвечать за одного?.. Но человек в страсти худой логик: один кажется ему всеми и все -- одним.

Не позже как на другой день узнали в городе о разрыве наших любовников. "Князь N\* оставил Юлию!" -- говорили мужчины, пожимая плечами. "Князь N\* оставил Юлию",-- говорили женщины с коварною улыбкою, и всякая из них думала: "Меня бы он не оставил!" Как показаться в свете? Юлия возненавидела его и несколько времени не выходила из своего кабинета.

Недели через две после сей истории приехал к ней Арке. Она подумала... и велела его пустить. Бедный Арис! Он должен был страдать вместе со всеми мужчинами от стрел Юлиина красноречия и слушать с видом кающегося преступника, когда бранили непостоянство и вероломных! Другой на его месте взглянул бы на Юлию такими глазами, что она, конечно бы, покраснелась и замолчала, но добрый Арис любил, не мог преодолеть страсти своей и приехал не для того, чтобы мстить огорченной красавице. Юлия довольна была его посещением; желала видеть его в другой, в третий раз -- и через несколько времени сердце ее перестало кипеть гневом на мужчин. Арисова нежность, кротость, сердечные достоинства, которых в светском шуме не могла она так сильно и живо чувствовать, тронули ее душу в искренних разговорах тихого кабинета.

-- Для чего,-- сказала Юлия сквозь слезы,-- для чего другие мужчины не подобны вам? Тогда нежнейшая склонность нашего сердца не была бы для нас источником тоски и горести...

Арис воспользовался сею минутою, и Юлия не могла отказаться от руки его, с тем условием, чтобы оставить навсегда коварный свет, как она говорила, стараясь загладить в мыслях своих последние черты легкомысленного князя N\*.

-- Коварный свет, недостойный быть свидетелем нашего благополучия, любезный Арис! Презрим суетность его -- он мне несносен -- и удалимся в деревню!

-- Все дни мои,-- отвечал он с радостными слезами,-- будут посвящены твоему удовольствию, несравненная Юлия! Я рад жить с тобою

на краю мира; никогда, никогда не оскорблю тебя ни взором, ни упреком, ни жалобой. Воля твоя -- мой закон! Ты делаешь меня счастливым: угадывать твои желания, исполнять их, зависеть от тебя совершенно есть священный долг моей благодарности!

Арис не обманет Юлии; а Юлия -- увидим!

Первые шесть или семь недель протекли для них в деревне, как шесть или семь веселых дней. Добродетельный супруг восхищался прелестною супругою всякий час, всякую минуту. Юлия была чувствительна к его нежности, и сердца их сливались в тихих восторгах. Казалось, что сама природа брала участие в их радостях: она цвела тогда во всем пространстве садов своих. Везде благоухали ясины и ландыши; везде пели соловьи и малиновки; везде курился фимиам любви, и все) питало удовольствиями любовь наших супругов.

"Боже мой! -- говорила Юлия.-- Как могут люди жить в городе! Как могут они выезжать из деревни! Там шум и беспокойство; здесь чистое, невинное удовольствие. Там вечное принуждение; здесь покой и свобода, Ах, друг мой!., (с умильным взором брала она Арисову руку и прижимала ее к своей груди)... ах, друг мой! Только в одной сельской тишине, в одних объятиях природы чувствительная душа может насладиться всею полнотою любви и нежности!"

В конце лета Юлия все еще хвалила сельскую жизнь, хотя и не с таким уже красноречием, не с таким жаром. Но за красным летом следует мрачная осень. Цветы и в поле и в саду увяли; зелень поблекла; листья слетели с деревьев; птички... бог знает, куда девались -- и все стало так печально, так уныло, что Юлия потеряла всю охоту хвалить деревенское уединение. Арис заметил, что она, смотря в окно, часто закрывала белым платком алый свой ротик и что белый платок, как будто бы от веяния Зефира, поднимался на нем и опускался, то есть, сказать просто, Юлия зевала! Арис вздохнул, взял том "Новой Элоизы"\*, развернул и прочитал несколько страниц... о блаженстве взаимной любви. Юлия перестала зевать, слушала и наконец сказала:

-- Прекрасно! Только знаешь ли, мой друг? Мне кажется, что Руссо писал более по воображению, нежели по сердцу. Хорошо, если бы так было, но так ли бывает в самом деле? Удовольствие счастливой любви есть, конечно, первое в жизни, но может ли оно быть всегда равно живо, всегда наполнять душу? Может ли заменить все другие удовольствия? Может ли населить для нас пустыню? Ах! Сердце человеческое ненасытимо, оно хочет беспрестанно чего-нибудь нового, новых идей, новых впечатлений, которые, подобно утренней росе, освежают внутренние чувства его и дают им новую силу. Например, я думаю, что самая пылкая любовь может простыть в совершенном уединении; она имеет нужду в сравнениях, чтобы тем более почувствовать цену предмета своего.

Арис вздохнул и сказал:

-- Я не так думал, но... мы завтра едем в город!

Юлия снова явилась в свете, и с новым блеском красоты своей, с богатством, с пышностью: довольно -- свет принял ее с рукоплесканием, и

розы со всех сторон посыпались на Юлию. Веселие за веселием, удовольствие за удовольствием -- так, как и прежде -- с тою разницею, что замужня женщина имеет еще более удобства наслаждаться всеми приятностями светской жизни.

Героиня наша хотела жить открытым домом, и по крайней мере четыре раза в неделю ужинало у нее 30 или 40 человек. Арис молчал, делал все, что ей угодно было. Юлия чувствовала сию нежность и, оставаясь с ним наедине, награждала его за то восхитительными своими ласками. "Не правда ли, друг мой,-- говорила она с прелестною улыбкою,-- что городские забавы и разнообразие предметов еще более оживляют любовь нашу? Сердце мое, утомленное светским шумом, наслаждается покоем в твоих объятиях". Арис вздыхал так тихо, что Юлия не слыхала того.

Но однажды ввечеру Арис изменился в лице: между гостями, приехавшими к Юлии, увидел он князя N\*! Сердце его затрепетало, однако ж через несколько минут сие невольное движение укротилось. Разум сказал сердцу: молчи!--и Арис подошел к князю с учтивым приветствием. Только во весь тот вечер боялся он пристально смотреть на Юлию, чтобы не привести ее в замешательство, чтобы она не перетолковала его взоров в худую сторону и не нашла в них какого-нибудь подозрения, беспокойства, неудовольствия.

После ужина, когда все разъехались, Юлия села на софу, взяла Ариста за руку и сказала ему с улыбкою:

-- Ты видел, мой друг, с какою холодною учтивостию обходилась я с князем N\*. Не принять его, отказать ему от дома было бы с моей стороны неблагоразумно. Пусть видит этот легкомысленный Нарцисс, что он мне ничего, что прошедшее заблуждение не оставило в душе моей никаких следов, что я не имею причины бояться сердца своего и что он не может привести меня в краску.

Арис... Арис поцеловал ее руку и отдал справедливость благоразумию супруги своей!

Через два дни опять ужин, и князь опять явился вместе с прочими гостями; был весел, забавен, говорил с хозяйкою более, нежели с кем-нибудь; о хозяине не думал, взглядывал на него почти с презрением и вел себя как должно модному человеку. Коротко сказать, он не пропускал случая быть у Юлии. "Как весело в ее доме!" -- говорили мужчины и женщины. "Хозяйка любезна, как ангел",-- говорили первые. "Милый князь разливает вокруг себя удовольствием",-- говорили последние.

Между тем начались толки. Одни с усмешкою смотрели на Ариста, другие пожимали плечами. "Чему дивиться? -- шептали друг другу на ухо,-- старая дружба! Теперь же и менее опасности. Муж тих, скромн -- и все с концом!"

Арис не переменялся в рассуждении Юлии, но скоро увидел в ней перемену. Иногда она задумывалась, бледнела, хотела быть одна; через час лицо ее покрывалось нежнейшим румянцем, она бросалась в объятия супруга своего, целовала его с жаром, хотела что-то сказать и не говорила ни слова. Скромный Арис также молчал; иногда слезы катились из глаз его, но кто был их свидетелем? -- тихое уединение, самая густая аллея в саду его, которая,

после Юлии, сделалась ему всего милее. Арису казалось, что холодные тени ее с чувством прикасались к его сердцу и согревались его теплотой.

В один день, перед вечером он приехал домой и спешил в любимую свою аллею; входит и видит князя N\*, сидящего на дерновом канаве подле Юлии, которая, опустив голову на плечо к нему, смотрела в землю. Он целовал ее руку и говорил: "Ты меня любишь, и я должен умереть в твоих объятиях! Юлия! Тебе ли иметь предрассуждения? Следуй влечению своего сердца, следуй..." Но Юлия услышала шорох, взглянула -- и затрепетала... Пусть всякий вообразит себя на месте бедного Ариса!.. Что делать? Заколоть их одним кинжалом, утолить кровию жажду справедливого мщения, а потом ... умертвить и самого себя?.. Нет! Арис сражался с собою не долее минуты; она была ужасна, но он умиротворил кипящее сердце и скрылся! Человек, который видел его выходящего из аллеи, сказывал мне, что лицо его было бледно, как полотно, что ноги его приметно дрожали, что из сердца его, как будто бы насильно, вырывался какой-то глухой стон, что он взглянул на небо и, вздохнув несколько раз сряду, вдруг пошел скорыми шагами. В тот же вечер принесли к Юлии следующее письмо:

"Я не нарушил данного слова, не оскорбил тебя ни жалобою, ни укоризною, надеялся на силу нежности и любви моей, обманулся и должен терпеть! После того что я видел и слышал... нам нельзя жить вместе. Не хочу обременять тебя моим присутствием. Права супружества несносны, когда любовь не освящает их. Юлия, прости!.. Вы свободны! Забудьте, что у Вас был супруг, долго или никогда об нем не услышите! Океан разделит нас. Не будет у меня ни отечества, ни друзей; будет одно чувство для горести и меланхолии! В приложенном пакете найдете бумагу, по которой можете располагать моим имением; найдете еще портрет бывшей супруги моей... Нет, я возьму его с собою: буду говорить с ним как с тению умершего друга, как с единственным и последним милым предметом умирающего сердца!"

Надобно знать, что Юлия, увидев Ариса в аллее, несколько минут сидела безмолвно, потом бросилась вслед за ним, назвала его два раза именем... голос ее прервался, ноги подогнулись -- она должна была опереться на плечо князю и едва могла дойти до дому. Там, не видя Ариса, упала на софу, закрыла лицо руками и не говорила ни слова. Тщетно приступал к ней услужливый князь; тщетно старался успокоить ее -- она молчала.

Дрожащею рукою схватила Юлия письмо Арисово -- прочитала его -- и слезы в три ручья покатались из глаз ее. Князь хотел взять письмо...

-- Пстой! -- сказала она твердым голосом.-- Ты не можешь его читать: оно писано добродетельным!.. Туман рассеялся -- и я презираю себя!.. О женщины! Вы жалуетесь на коварство мужчин: ваше легкомыслие, ваше непостоянство служит им оправданием. Вы не чувствуете цены нежного, добродетельного сердца; хотите нравиться всему свету, гоняетесь за блестящими победами и бываете жертвою суетности своей {"У места ли такая выходка? -- скажет критик.-- Может ли женщина в таком случае проповедовать мораль?" -- "Может, отвечаю ему, может, может! А доказательство объявлю после".}. Государь мой! Вы видите меня в последний раз. Обманывайте других женщин, смейтесь над слабыми, только

прошу забыть, оставить меня навсегда. Я не обвиняю никого, кроме собственной безрассудности моей, в свете не будет вам недостатка в удовольствиях, но я гнушаюсь вами и всеми, подобными вам. Клянусь самой себе, что отныне дерзкий порок не осмелится взглянуть мне прямо в глаза. Дивитесь скорой перемене, верьте ей или не верьте, для меня все одно,-- сказала и, как молния, исчезла.

Князь стоял, подобно неподвижной статуе, наконец опомнился, засмеялся -- искренно или притворно, оставим без решения -- сел в карету и поехал в спектакль.

Юлия, узнав, что Арис уехал из Москвы неизвестно куда и только с одним камердинером, сама немедленно оставила город и удалилась в деревню. "Здесь протекут дни мои в безмолвном уединении,-- сказала она со вздохом.-- Сельский домик! Я могла, но не умела быть счастлива в тихих стенах твоих; я вышла из тебя с достойнейшим, нежнейшим супругом; возвращаюсь одна, бедною вдовою, но с сердцем, любящим добродетель. Она будет моим утешением, моим товарищем, моею подругою, я буду рассматривать, буду целовать образ ее в чертах незабвенного Ариса!" В сию минуту слезы ее капали на портрет его, который она в руках держала.

Надобно отдать справедливость вам, любезные женщины: когда вы на что-нибудь решитесь, не в минуту легкомыслия, не словом, но душою и с глубоким чувством истины, твердость ваша бывает тогда удивительна, и славнейшие герои постоянства, которых до небес возносит история, должны разделить с вами лавры свои.

Юлия, которая на тоненький волосок была от того, чтобы сделаться новою Аспазиею, новою Лайсою,-- Юлия сделалась вдруг ангелом непорочности. Все суетные желания замерли в ее сердце; она посвятила жизнь свою памяти любезного супруга, воображала его стоящего перед собою, изливала перед ним свои чувства, говорила: "Ты меня оставил, ты имел право оставить меня, не смею желать твоего возвращения, желаю только спокойствия любезной душе твоей; желаю, чтобы ты забыл супругу свою, если образ ее мучит твое сердце. Будь счастлив, где бы ты ни был! Со мною милая тень твоя, со мною воспоминание любви твоей: я не умру с горести! Хочу жить, чтобы ты имел в свете нежного друга, может быть, посредством тайной симпатии сердце твое, не взирая на разлуку, на пространство, которое нас разделяет, согреется, оживится моею любовью; может быть, погруженному в тихий сон, веющий зефир скажет тебе: Арис не один в мире -- откроешь милые глаза свои и вдалеке, в тумане увидишь горестную Юлию, которая следует за тобой своим духом, своим сердцем; может быть... Ах! Я против воли своей желаю... Нет, нет! Хочу обожать его без всякой надежды!"

В душе ее царствовало тихое уныние, более приятное, нежели мучительное. Добродетельные чувства не совместны с тоскою: самые горькие слезы раскаяния имеют в себе нечто сладкое. Прекрасна и заря добродетели, а что иное есть раскаяние?

Скоро Юлия узнала, что она беременна -- новое, сильное чувство которое потрясло ее!.. Радостное или печальное?.. Юлия несколько времени

сама не могла разобрать идей своих. "Я буду матерью?.. Но кто возьмет на руки младенца с нежною улыбкою? Кто обольет его слезами любви и радости? Кому скажу я: вот сын наш! вот дочь наша! Несчастный младенец! Ты родишься сиротою, и образ горести будет первым предметом открывающихся глаз твоих!.. Но... так угодно провидению. Новая обязанность жить и терпеть без роптания! Родись, милый младенец! Сердце мое будет тебе отцом и матерью. Я утешусь для тебя и тобою: не оскорблю нежной души твоей ни горестными вздохами, ни мрачным видом! Одна любовь ожидает тебя в моих объятиях, и час твоего рождения обновит жизнь мою!"

Юлия хотела приготовить себя к священному званию матери. "Эмиль" -- книга единственная в своем роде\* -- не выходила из рук ее. "Я не умела быть добродетельною супругою,-- говорила она со вздохом,-- по крайней мере буду хорошею матерью и небрежение одного долгу заглажу верным исполнением другого!"

Она считала дни и минуты, пристрастилась заранее к милому младенцу, еще невидимому, заранее целовала его в мыслях своих, называла всеми нежными именами, и всякое его движение было для нее движением радости.

Он родился -- сын -- прекраснейший младенец, соединенный образ отца и матери. Юлия не чувствовала болезни, не чувствовала слабости: им, им только занималась, им дышала; плакала -- улыбалась, чтобы заставить его улыбнуться, и сердце ее, вкусив сладкие чувства матери, открыло в себе новый источник радостей, чистейших, святых, неописанных радостей. Не уставали глаза ее, смотря на младенца, не уставал язык ее, называя его тысячу раз любезным, милым сыном! Огнем любви своей согревала она юную душу его, наблюдала ее начальные действия, от первой слезы до первой его усмешки, и вливала в него нежными взорами собственную свою чувствительность. Нужно ли сказывать, что она сама была кормилицею своего сына?

Юлии казалось, что все предметы вокруг нее переменились и сделались ласковее. Прежде она не выходила почти из комнаты своей; открытое небо, пространство, необозримые равнины питали в ее душе горестную идею одиночества. "Что я в неизмеримой области творения?" -- спрашивала она у самой себя и погружалась в задумчивость. Шум реки и леса увеличивал ее меланхолию, веселье летающих птичек было чуждо ее сердцу. Теперь Юлия спешит показывать маленького любимца твоего всей природе. Ей кажется, что солнце светит на него светлее, что каждое дерево наклоняется обнять его, что ручеек ласкает его своим журчанием, что птички и бабочки для его забавы порхают и резвятся. "Я мать",-- думает она и смелыми шагами идет по лугу.

Удовольствия, которых Юлия искала некогда в свете, казались ей теперь ничтожным, обманчивым призраком в сравнении с существенным, питательным наслаждением матери. Ах! Она была бы совершенно счастлива, если бы мысль о горестном Арисе не тревожила ее сердце. "Я проливаю радостные слезы,-- говорила она самой себе,-- я наслаждаюсь в то время,

когда он в горестном уединении скитается по свету, упрекая себя любовью к недостойной супруге! Какой ангел известит его о перемене моего сердца? Юлия могла бы... так в присутствии самого неба осмелюсь сказать, что Юлия могла бы теперь загладить перед ним вину свою!-- Но он не знает, он изображает меня в объятиях порока, воображает меня мертвою для всех чувств добродетели!.. Пусть он возвратится хотя на минуту; хотя для того, чтобы видеть нашего сына! Пусть он, сказав "ты недостойна им веселиться", возьмет его у меня! Я рада лишиться всех утешений, чтобы утешить оскорбленного супруга моего... рада быть несчастлива для его благополучия! А он будет счастлив с ангелом красоты и невинности, забудет все печали!"

Между тем маленький Эраст {Имя сына ее.} расцветал, как розан; он мог уже бегать по лугу; мог говорить Юлии: "Люблю тебя, маменька!", мог ласкать ее с чувством и нежными ручонками отирать приятные слезы, которые часто лились из глаз ее.

Однажды весною -- время, которое всегда напоминало Юлии первую весну замужества ее,-- она пошла гулять с маленьким своим Эрастом, села на цветущем пригорке близ дороги и -- между тем как младенец резвился и прыгал вокруг ее -- сняла с груди своей портрет Арисов и рассматривала его с умилением. "Таков ли он теперь? -- думала Юлия.-- Ах нет! Черты его, конечно, переменились. Когда живописец изображал их, он сидел против меня, смотрел на меня с любовью, был весел и счастлив! А теперь... теперь..." Взор Юлиин помрачился. Она задумалась, и легкий сон закрыл на минуту глаза ее. Беспокойная душа видит и мечты беспокойные {Ужасный сон бывает перед счастливым событием, говорит гишпанская пословица. Я воспользовался ею для окончания моей повести.}: Юлии представилось во сне необозримое море, которое шумело и пенилось под черными тучами; излучистые молнии сверкали во мраке, страшные громы гремели, и ужас носился всюду на крыльях бури. Вдруг показывается корабль, игралище, жертва волн разъяренных,-- исчезает в пропастях кипящей влаги и снова является, чтобы навсегда погрузиться в бездне... Злополучные мореплаватели!.. Юлия, сидя на кремнистой скале, видит гибель их и страдает в чувствительном сердце своем. Сильный вал несется к берегу, выбрасывает на песок человека и удаляется. Юлия спешит к несчастному, хочет оживить его и узнает в нем Ариса, хладного, мертвого. Она трепещет пробуждается... и видит Ариса наяву; он -- в ее объятиях, и навеки! {-- Откуда взялся Арис? -- спросят любопытные.-- Он несколько лет странствовал по чужим землям. Верный друг, оставленный им в Москве, уведомлял его о Юлии. Наконец, уверившись в ее добродетели, летел он к обожаемой супруге сказать ей: "Я не переставал обожать тебя!"}

Я знаю слабость пера своего и для того не скажу более ни слова о сей редкой сцене, ни слова о первых восклицаниях, непосредственно вылетевших из глубины сердца; ни слова о красноречивом безмолвии первых минут, ни слова о слезах радости и блаженства!.. Чтобы живее представить себе картину, читатель вообразит еще маленького Эраста которого Юлия взяла на руки и подала Арису. Младенец, наученный природою, ласкал отца своего и смотрел с улыбкою на Юлию.

Уже три года живут они в деревне, живут как нежнейшие любовники, и свет для них не существует. Арис не переменился: он всегда был деятельным мудрецом. Но Юлия примером своим доказала, что легкомыслие молодой женщины может быть иногда покрывалом или завесою величайших добродетелей.

Нежность Арисова так далеко простирается, что он не позволяет Юлии описывать черными красками прежнего ее ветреного характера. "Ты рождена быть добродетельною,-- говорит Арис,-- нескромное желание нравиться -- плод безрассудного воспитания и худых примеров произвели минутные твои заблуждения. Тебе надлежало только один раз почувствовать цену истинной любви, цену добродетели, чтобы исправиться и возненавидеть порок. Ты удивляешься, друг мой, для чего Я молчал и не хотел говорить тебе о следствиях ветренности твоей: я был уверен, что укоризны могут скорее ожесточить сердце, нежели тронуть его чувствительность. Нежное терпение со стороны мужа есть в таком случае самое действенное средство. Выговоры, упреки заставили бы тебя думать, что я ревнив; ты почла бы себя оскорбленною, и сердца наши могли бы навсегда удалиться друг от друга. Следствие доказало справедливость моей системы. Разлука казалась мне последним способом, который должно было употребить мне для твоего исправления. Я оставил тебя на суд собственного твоего сердца,-- признаюсь, не хладнокровно, не без мучительной горести, но ведь луч надежды питал и не обманул меня! Ты моя совершенно и навеки!"

Иногда Юлия вооружается против женщин, Арис их защитник. "Поверь мне, друг мой,-- говорит он,-- поверь, что порочные женщины бывают от порочных мужчин: первые для того дурны, что последние не стоят лучших".

Арис и Юлия могут не соглашаться в разных мнениях; но в том они согласны, что удовольствие счастливых супругов и родителей есть первое из всех земных удовольствий.